

* * *

Ты убавляешь резкость пейзажа
и заметаешь пути,
и покидаешь белую пряжу,
что же, белая, лети.

Ты удаляешься, не остаёшься,
слава беглянке, виват,
шапки бросают под самое солнце
тёмные руки солдат.

Это прощанье или братанье,
я утверждать не берусь,
в небе над нами кружит беспечно
белая бабочка-Русь.

* * *

Дом, где я жил, так быстро умер, что
я не успел забрать из неотложки
ни письма, ни винтажное пальто,
ни наши мельхиоровые ложки.

Теперь, в своём трёхкомнатном шале,
вплывая в чёрный космос без оглядки,
ты не услышишь, как стучит реле
моей необесточенной сетчатки.

Ты не увидишь, ибо далеко,
как падают посмертные сирени
на мальчика в малиновом трико,
растянутом и грязном на коленях.

Мне будут сниться цифровые сны,
зашарпленные тучи небосвода,
Москва ещё до ядерной зимы,
какие-то морлоки в переходах,

когда же мой закончится ночлег,
когда меня достанут из-под снега
при поцелуях новой Хины Члек –
пусть рамка увлажняемая века

пройдёт зеленым лазерным лучом
по барельефам станции Динамо,

где мальчик с алебастровым мячом
и девушка, похожая на маму.

* * *

На площадях антимосквы,
как обезвоженное древо,
руины бронзовой листвы
я погружаю в антинебо.

Не уповая ни на что
и ни на что не намекая,
один на каменном плато
с неутолённым сердцем Кая

я погружаю руки в нефть,
и медленное колыханье
втекает, как вторая смерть
в глазные яблоки сознания.

В местах, где даже Бога нет,
как нет спасения и веры,
да не погаснет антисвет
на невещественности склеры.

* * *

Мне хочется быть Москвой беспосадочных перелётов,
золотистых платьев, нарядного Первомая,
широчайших проспектов, великой дружбы народов,
александровских фильмов, щедрого урожая,
румяных красноармейцев, смеющихся краснофлотцев,
легендарных комдивов на фоне дворянских дач,
их молочных дочек, увенчанных пляжным солнцем,
детей, играющих в мяч,

гипсовых пионеров с могучим сигнальным горном,
которых не расстреляют, не изнасилуют, не сошлют,
которые будут всегда в пространстве огнеупорном
отдавать безмолвный салют,

которые будут всегда – а что до молочных дочек –
так ведь это судьба – родиться в семье комдива;
белое стало чёрным и растворилось в ночи
времени и пространства, как серебро негатива.

Логика зла такова – оно кусает свой хвост,
сначала стреляешь ты, потом – по твоим и тебе,
и лучше это понять – иначе ногтей и волос
от тебя не оставят бесы в своей алчбе.

* * *

Ей кажется, что в дом забрался вор.
Она выходит в тёмный коридор,
идёт к двери, вздыхая еле-еле,
запахивая на ходу жакет,
мешком висящий на эфирном теле,
и тихо сквозь неё струится свет,
вещественный, как мёртвый эпителий, —
на столик, за который мне не сесть,
на выбитый паркет, на зеркала,
ей кажется, что в доме кто-то есть,
возможно, тот, кого она ждала,
и медленно она идёт назад,
садится в кресло, закрывает книгу
и раскрывает синие глаза,
как самую последнюю улику.
Она жива. Читает без очков
и ждёт меня в потустороннем мире,
где смерть пугает только новичков
и дважды два, конечно, не четыре.

* * *

От капустного листа
и чернеющего поля —
всё знакомые места,
непонятные до боли.

Церковь, рядом магазин,
жизнь направо, смерть налево,
голые персты осин
молча указуют в небо.

Надвигается зима,
она будет дольше прежней,
снова внутренняя тьма
будет спрашивать у внешней:

Кто Ты, русский Бог живых,
и Тебе какое дело
до печали остальных,
в ком душа не уцелела?

Будут ходики стучать,
лисы бегать через реку,
снова будет Бог молчать,
отвечая человеку.

* * *

От Перемиловских высот
до Бутовского полигона
над миром радуга встаёт,
и, в ней мерцая несинхронно,

одни восходят на дугу,
другие прячутся в траве,
кто город не отдал врагу
и кто расстрелян был в Москве.

Над миром радуга гремит,
взметая самый горький прах,
жасмин расцвёл и говорит:
«Был холод на моих губах,

а нынче стало так тепло,
и жмурится на солнце кот,
и шмель, блестящий, как стекло,
во мне гудит, как самолёт».

* * *

Мне приснился тихий Дон,
синий Дон небесный,
то, что раньше было дном,
оказалось бездной.

Снилось мне, что в том нигде
между облаками
ходят кони по воде
вместе с казаками.

Тем, кто был убит огнём,
кто бедою чёрной,
там теперь последний дом,
чистый и просторный.

Там теперь всегда вдвоём
Гришка и Аксинья,
и несёт их души Дон
синий, синий, синий.